

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕЛЛИН

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Ф. КАРРИКАШ — Осенний паек
для Габора Добай
Анна КАРАВАЕВА — Лесозавод
Е. НЕЧАЕВ — Алешка-матрос
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

П О Э М А: А. КУДРЕЙКО — Мадьяр

С Т И Х И: Б. Ковынева, Акона
Акопяна, Б. Уральского

ВОСПОМИНАНИЯ: Вл. Бонч-Бруе-
вича, Н. Г. Полетаева, И. Рябкова

ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Г. Канэль — Евдо-
кушка, В. Ставский — Клуб моряков,
Мэри Рид — Первое мая

ЛИТЕРАТУРА:

ЯКУБОВСКИЙ — О чем и как пи-
шет Сергей Семенов

Ж. ЭЛЬСБЕРГ — „Февраль“ Тара-
сова-Родионова

ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КНИГА 5

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕИ

★

К Н И Г А П Я Т А Я

М А Й 1 9 2 8

М О С К О В С К И Й Р А Б О Ч И Й
М О С К В А * Л Е Н И Н Г Р А Д

Т И Х И Й Д О Н

(Р о м а н)

*

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

Часть четвертая

I

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках редкие огни. У входа в одну из офицерских землянок на минуту задержался приземистый офицер; скользя мокрыми пальцами по застежкам, он торопливо растегнул шинель, стряхнул с воротника воду, наскоро вытер сапоги о втоптаный в грязь пучок соломы и только тогда толкнул дверь и, пригинаясь, вошел в землянку.

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, масляно блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кровати приподнялся офицер в распахнутой тужурке, провел рукою по всклокоченным сидящим волосам, со скрипом зевнул.

— Дождь?

— Идет, — ответил гость и, раздевшись, повесил на гвоздь у входа шинель и обмякшую от влаги фуражку. — У вас тепло. Надышали.

— Мы недавно протопили. Скверно то, что выступает подпочвенная вода. Дождь, черти б его нюхали, выживает нас... а? Как вы думаете, Бунчук?

Потирая руки, покрытые черной ворсистой шерстью, Бунчук спорбился, сел около печурки на корточки.

— Настил положите. В нашей землянке — красота: босым можно ходить. Где же Листницкий?

— Спит.

— Давно?

— Вернулся с обхода и лег.

— Будить пора?

— Валяйте. В шахматы поиграем.

Бунчук указательным пальцем смахнул с широких и густых бровей дождевую сырость, внимательно осмотрел палец и, не поднимая головы, тихонько окликнул:

— Евгений Николаевич!

— Спит, — вздохнул седоватый офицер.

— Евгений Николаевич!

— Ну? — Листницкий приподнялся на локте.

— В шахматы сыграем?

Листницкий свесил ноги, долго растирал розовой мягкой подушечкой ладони пухлую грудь.

К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни—есаул Калмыков и сотник Чубов.

— Новость!—еще с порога крикнул Калмыков.—Полк, по всей вероятности, снимут.

— Откуда это? — недоверчиво улыбнулся седоватый под'есаул Меркулов.

— Не веришь, дядя Петя?

— Признаться, — нет.

— По телефону передал командир батареи. Откуда он знает? Как же, ведь он вчера только из штаба дивизии.

— В баньке попариться не плохо бы.

Чубов, блаженно улыбаясь, сделал вид, будто хлещет себя по ягодицам веником. Меркулов засмеялся.

— В нашей землянке остается котел лишь поставить, — воды хоть отбавляй.

— Мокро, мокро, хозяева, — брюзжал Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол.

— Болото под боком.

— Благодарите всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой, — вмешался в разговор Бунчук. — На чистом наступают, а мы тут за неделю по обойме расстреливаем.

— Лучше наступать, чем гнить здесь заживо.

— Не для того держат казаков, дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках. Ты лицемерно наивничаешь.

— Для чего же — по-твоему?

— Правительство в нужный момент попытается, по старой привычке, опереться на плечо казака.

— Ересь несешь, — махнул рукой Калмыков.

— Как это — ересь?

— А так.

-- Оставь, Калмыков! Истину нечего опровергать.

-- Какая уж там истина...

-- Да ведь это же общеизвестно. Что ты притворяешься?

→ Внимание, гас-па-да офицеры! — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука. — Хорунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику.

— Петрушку валяете? — ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук. — А, впрочем, продолжайте — у всякого свое призвание. Я говорю, что мы не видим войны со середины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени.

— А потом? — спросил Листницкий, убирая шахматы.

— А потом, когда на фронте начнутся волнения, — а это неизбежно: война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует, увеличение дезертиров, — тогда подавлять мятежи, усмирять кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции.

— Увлекаешься, милейший мой! Предположения твои довольно таки шатки. Прежде всего нельзя предрешать ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем? А если мы предположим такую вещь: союзники разбивают немцев, война завершается блистательным концом, — тогда какую роль ты отводишь казачеству? — возразил Листницкий.

Бунчук скупно улыбнулся.

— Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный.

-- Кампанию затянули...

-- И еще туже затянут, — пообещал Бунчук.

— Ты когда из отпуска? — спросил Калмыков.

-- Позавчера.

Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок.

— Где побывал?

— В Петрограде.

— Ну, какково там? Гремит столица? Э, чорт, чего бы не дал, чтоб пожить там хоть недельку.

— Отрадного мало, — взвешивая слова, заговорил Бунчук, — не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недовольство, глухой протест.

— Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? — вопрошающе оглядел всех Меркулов.

— Русско-японская война породила революцию 1905 г., — эта война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной.

Листницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать его на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмураясь. Он заговорил со сдержанной злобой:

— Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот, — жест в сторону ссутулившегося Бунчука, — субъекты. Удивляет — потому, что до сих пор мне не ясно его отношение к родине, к войне... Однажды в разговоре он выразился очень туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение в этой войне. Так я тебя понял, Бунчук?

— Я — за поражение.

— Но почему? По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения своей родине — это... национальная измена. Это — бесчестье для всякого порядочного человека!

— Помните, думская фракция РСДРП агитировала против правительства, тем самым содействуя поражению? — вмешался Меркулов.

— Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? — задал вопрос Листницкий.

— Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точку зрения своей партийной фракции. А вот почему мы за поражение, так это — азы... Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен...

— Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей-социалистов».

«Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон», — подумал Бунчук и загасил улыбку.

— Нет бога, кроме Аллаха...

— В военной среде была исключительная обстановка, — словно извиняясь, вставил Меркулов, — мы все как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю.

Есаул Калмыков сидел, обмякая вислые усы, остро поблескивая горячими монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих, рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма рисунок Меркулова: полуголая женщина, с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку, во впадинах ключиц — мягкий пух света.

Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь, залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его сознание.

— Вот хорошо-то! — отрываясь от рисунка, воскликнул он, и очень некстати, потому что Бунчук только что кончил фразой:

— ... царизм будет уничтожен, можете быть уверены!

Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Листницкий поглядывал то на Бунчука, то на Чубова.

— Меркулов, вы — настоящий живописец! — ослепленно мигал Чубов.

— Так... Баловство...

— Пусть мы потеряем несколько сот тысяч солдат, но долг каждого, которого вскормила эта земля, защищать свою родину от порабощения. — Листницкий закурил, протирая стекла пенсне носовым платком, выжидательно смотрел на Бунчука близорукими, незащищенными глазами,

— Рабочие не имеют отечества, — чеканом рубил Бунчук. — В этих словах Маркса — глубочайшая правда. Нет и не было у нас отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы... бурьяном, польню росли на пустырях... Нам не в одно время с вами цвести...

Он вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой, пухложилкой ладонью пожелтевший от старости газетный лист.

— Угодно послушать? — обратился к Листницкому.

— Что это?

— Статья о войне. Я прочту выдержку. Я ведь не очень грамотный, толково не свяжу, а тут — как на ладошке.

«... Социалистическое движение не может победить в старых рамках отечества. Оно творит новые, высшие формы человеческого общежития, когда законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс всякой национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном единстве, при условии уничтожения теперешних национальных перегородок. На попытки современной буржуазии разделить и раз'единить рабочих посредством лицемерных ссылок на «защиту отечества», сознательные рабочие ответят новыми и новыми, повторными и повторными попытками установить единство рабочих разных наций в борьбе за свержение господства буржуазии всех наций. Буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией «национальной войны». Пролетариат разоблачает

этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну. Именно этот лозунг намечен штутгартской и базельской резолюциями, которые как-раз предвидели не войну вообще, а именно теперешнюю войну, и которые говорили не о «защите отечества», а об «ускорении краха капитализма», об использовании для этой цели кризиса, создаваемого войной, о примере Коммуны. Коммуна была превращением войны народов в гражданскую войну. Такое превращение, конечно, не легко и не может быть произведено «по желанию» отдельных партий. Но именно такое превращение лежит в объективных условиях капитализма вообще, эпохи конца капитализма в особенности. И в этом направлении, только в этом направлении должны вести свою работу социалисты. Не втирывать военных кредитов, не потакать шовинизму «своей» страны (и союзных стран), бороться в первую голову с шовинизмом «своей» буржуазии, не ограничиваться легальными формами борьбы, когда наступил кризис и буржуазия сама отняла созданную ею легальность, — вот та линия работы, которая ведет к гражданской войне и приведет к ней в тот или иной момент все-европейского пожара. Война не случайность, не «трех», как думают христианские попы (проповедывающие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир. Война наших дней есть народная война. Из этой истины следует не то, что надо плыть по «народному» течению шовинизма, а то, что и в военное время, и на войне и по-военному продолжают существовать и будут проявлять себя классовые противоречия, раздирающие народы. Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн. Пропаганда классовой борьбы и в войне есть долг социалиста; работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. Долой поповские сентиментальные и глупенькие воздыхания о «мире во что бы то ни стало!» Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны, — сказка о «последней войне» есть пустая, вредная сказка, мещанская «мифология»...

Бунчук, читавший медленно, негромко, на последних фразах повысил чугунно-глухой звон голоса, закончил при общем напряженном внимании:

«... пролетарское знамя гражданской войны не сегодня, так завтра, — не во время теперешней войны, так после нее, не в эту, так в ближайшую следующую войну, — соберет вокруг себя не только сотни тысяч сознательных рабочих, но и миллионы одураченных ныне шовинизмом полупролетариев и мелких буржуа, которых ужасы войны будут не только запугивать и забивать, но и просвещать, учить, будить, организовывать, закалять и готовить к войне против буржуазии и «своей» страны, и «чужих» стран»...

После долгого молчания Меркулов спросил:

— Не в России печаталось?

— Нет.

— Где же?

— В Женеве. Это из тридцать третьего номера «Социал-демократа» за 1914 год.

— А чья это статья?

— Ленина.

— Это... кажется, лидер большевиков?

Бунчук промолчал, бережно сворачивая газету, пальцы его редко вздрагивали. Меркулов поворошил седеющие вихры, сказал, не глядя на остальных:

— Велик у него талант убеждения... Чорт побери, тут много такого, над чем задумаешься!..

Горячась, заговорил Листницкий. Он, видимо волнуясь, застегнул ворот рубашки и, быстро шагая, тычась из угла в угол, сыпал дробный порошок слов:

— Статья эта — жалкая попытка человека, выброшенного родной из своих пределов, повлиять на ход истории. Пророчество в наш век реального не пользуется успехом, а такое пророчество — тем более. Истинно-русский человек пройдет мимо этих истерических выкриков с презрением. Болтовня! Превращение войны народов в войну гражданскую... о, чорт, как это все подло!

Морщась, Листницкий взглянул на Бунчука. Тот рылся в своем обемистом пакете, хмурясь, нагнув голову; видно было, как на его толстой смугло-бурой шее, в выпуклой вздувшейся жиле стремительно бьется пульс. Листницкий запальчиво кидал связки фраз, но дряблый низкий голос его не оставлял впечатления.

— Бунчук! — окликнул Калмыков. — Подождите, Листницкий!.. Бунчук, слышите?.. Ну, хорошо, допустим, что эта война превратится в гражданскую войну... потом что? Ну, свергнете вы монархию... какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть-то какая?

— Власть пролетариата.

— Парламент, что ли?

— Мелко! — улыбнулся Бунчук.

— Что же именно?

— Должна быть рабочая диктатура.

— Вон ка-ак!.. А интеллигенции, крестьянству какая же роль?

— Крестьянство пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных... а с остальными мы вот что сделаем... — Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой жгут какую-то бумагу, бывшую в его руках, потряс ею, процедил сквозь зубы: — Вот что сделаем!

— Высоко вы летаете... — усмехнулся Листницкий.

— Высоко и сядем, — закончил Бунчук.

— Соломки надо заранее постелить...

— За каким же чортом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это совместить с вашими воззрениями? Уди-ви-тель-но! Человек против войны... хе-хе... против уничтожения своих этих... классовых братьев — и вдруг... хорунжий!

Калмыков, шлепнув ладонями по голенищам сапог, искренне расхохотался.

— Сколько вы немецких рабочих извели со своей пулеметной командой? — спросил Листницкий.

Бунчук стремительно перелистал ворох своих бумаг, все так же нагнувшись над столом, сказал:

— Сколько немецких рабочих я перестрелял — это... вопрос. Ушел-то я добровольно потому, что все равно и так взяли бы. Думаю, что те знания, которые достал тут, в окопах, в кровях, пригодятся в будущем... в будущем. Вот тут сказано: «Возьмем современное войско. Вот один из хороших образчиков организации. И хороша эта организация только потому, что она гибка, умея вместе с тем миллионам людей давать единую волю. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут в штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей. Завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы. То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации...»

— А что такое «ситуация»? — перебил Чубов.

Бунчук пошевелился, как только что оторванный от сна, и, пытаясь понять вопрос, тер суставом большого пальца шишकाстый лоб.

— Я спрашиваю, что значит слово «ситуация»?

— Понимать — я понимаю, а вот объяснить дельно не сумею, должно... — Бунчук улыбнулся ясной, простой, ребяческой улыбкой; странно было видеть ее на крупном утрюмом лице, будто по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок-зайчишка:— Ситуация — это положение, обстановка, что ли, — в этом роде. Так я говорю?

Листницкий неопределенно махнул головой.

— Читай дальше.

«... Сегодня нет революционной ситуации, нет условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень, — бери его, умей организовать для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент, на теплые местечки, людей, цепляющихся за кресла из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень, тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти оружия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, — потовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии...»

Бунчук еще не кончил читать, как в землянку, постучавшись, вошел вахмистр пятой сотни.

— Ваш благородье, — обратился он к Калмыкову, — из штаба полка ординарец.

Калмыков и Чубов, одевшись, ушли. Меркулов, насвистывая, сел рисовать. Листницкий все так же ходил по землянке, щипая усики, что-то обдумывая. Вскоре, распрощавшись, ушел и Бунчук. Он пробирался по залитому грязью ходу сообщения, придерживая левой рукой воротник, правой запахивал полы шинели. Ветер струею бил по узкому каналцу хода, цепляясь за уступы, свистал и кружился. Чему-то смутно улыбался шагавший в темноте Бунчук. Он добрался до своей землянки вновь весь пропитанный дождевой сыростью и запахом изопревшей ольховой листвы. Начальник пулеметной команды спал. На смутном черноусом лице его синели следы, оставленные бессонницей (три ночи резался в карты). Бунчук порылся в своем, оставшемся от прежних

времен, солдатском мешке, возле дверей сжег кучку бумаг, сунул в карманы шаровар две банки консервов и несколько горстей револьверных патронов, вышел. В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер, разметал серый пепел, оставшийся от сожженных у порога бумаг, потушил чадившую лампочку.

После ухода Бунчука Листницкий минут пять ходил молча, потом подошел к столу. Меркулов, косо наклонив голову, рисовал. Тонко очиненный карандаш стлал дымчатые тени. Лицо Бунчука, перерезанное обычной для него скупой, словно вынужденной улыбкой, смотрело с белого квадрата бумаги.

— Сильная морда, — отводя руку с рисунков, сказал Меркулов и поднял на Листницкого глаза.

— Ну, как? — спросил тот.

— Чорт его знает! — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов. — Парень он странный, теперь об'яснился, понятно, многое стало ясным, а раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он опромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?

— Да, — как-то неопределенно ответил Листницкий.

— Пулеметчики — все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? На зло говорил, ей-богу! Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип.

Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Листницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов, на обратной стороне рисунка, ломая остро очиненное жало карандаша, размашисто написал:

«Ваше Высокоблагородие!

Те предположения, которые сообщал я Вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Хорунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка (присутствовали, помимо меня, пятой сотни есаул Калмыков, сотник Чубов, третьей сотни под'есаул Меркулов), с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, раз'яснил те задачи, которые выполняет он согласно своим политическим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки из своего партийного органа «Социал-демократ», издающегося в Женеве. Хорунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку (есть предположения, что поэтому он и поступил в полк вольноопределяющимся), пу-

леметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на моральном состоянии полка — были случаи отказов от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял О. О. Ш. Д. и т. д.

Хорунжий Бунчук на-днях возвратился из отпуска (был в Петрограде), в изобилии снабженный разрушительной литературой; теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу.

Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам: а) виновность хорунжего Бунчука установлена (г.г. офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною); б) теперь же необходимо, в целях пресечения его революционной деятельности, арестовать его и предать военно-полевому суду; в) срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особоопасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам.

Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу родине и Монарху. Копию данного письма направляю С. Т. Корп.

Е с а у л Е в г. Л и с т н и ц к и й».

20 октября 1916 г.

Участок № 7

На утро Листницкий отправил с вестовым в штаб дивизии донесение, позавтракав, вышел из землянки. За ослизлой спиной бруствера над болотом качался туман, хлопья его висели словно пригвожденные к колочкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки, в мокрых, измазанных шинелях, кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки.

— Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете? — злобно крикнул Листницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков.

Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинелей, покуривая. Смуглый бородатый казак, с серебряной серьгой, болтавшейся в морщенной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелко хвороста:

— Душой рады бы без щита обойтись, да как его, ваш бла'родие, разведешь, огонек-то? Гля, какая тут моча! Чуть не на четверть.

— Сейчас же вынь щит!

— Што ж нам, значаца, голодными сидеть?! Та-а-ак... — хмурясь и глядя в сторону, сказал широкомордый, рябой казак.

— Я тебе поговорю... Снимай щит! — Листницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост.

Бородатый казак с серьгой, смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул:

— Попили чайку, ребята...

Казачи молча провожали глазами уходившего по линии есаула. Во влажном взгляде бородатого дрожали огневые светлячки,

— Обидел, сука!

— Э-э-эх!.. — протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки.

На участке четвертого взвода Листницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой, от него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Листницкого в сторону, дыхнул скороговоркой:

— Слышал новость? Бунчук-то этой ночью дезертировал.

— Бунчук? Что-о-о?

— Дезертировал... Понимаешь? Игнатъич, начальник пулеметной команды, — ведь он в одной землянке с Бунчуком, — говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул... Вот оно что.

Листницкий долго протирали пенсне, щурился.

— Ты как будто взволнован? — испытующе посмотрел на него Меркулов.

— Я? Ты что, в уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто, ты огорошил меня неожиданностью.

II

На другой день утром смущенный вахмистр вошел в землянку Листницкого, помявшись, сообщил:

— Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко так-то... Я вот и пришел доложить вам. А то как бы какова преха не нажить...

— Какие бумажонки? — приподнимаясь с койки, спросил Листницкий.

Вахмистр подал скомканные в кулаке листки. На четвертке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Листницкий прочитал залпом:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Товарищи солдаты!

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат для того, чтобы захватить новые земли и угнетать

население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынки, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барыши, — раздел производится вооруженной силой, — и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролито братской крови! Опомнитесь, трудящиеся! Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы — братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира!»

Последние строки Листницкий прочитал задыхаясь. «Вот оно. Начинается!», — подумал он, охваченный безумной ненавистью и тяжестью надвинувшихся предчувствий. Созвонившись по телефону с командиром полка, Листницкий сообщил о случившемся.

— Что прикажете сделать, ваше превосходительство? — спросил под конец.

Сквозь комариное нытье и далекие звонки телефона из трубки густками падали слова генерала:

— Сейчас же с вахмистром и взводными офицерами произвести обыск. поголовный, не исключая и самих офицеров. Сегодня запрошу штаб дивизии, когда они думают сменить полк. Потороплю их. Если при обыске что-либо обнаружите — сообщите немедленно.

— Я полагаю, что это — работа пулеметчиков.

— Да? Сейчас же прикажу Игнатьичу обыскать своих казаков. Всего доброго.

Собрав в свою землянку взводных офицеров, Листницкий сообщил им о приказе командира полка.

— Что за безобразие! — возмутился Меркулов. — Что же мы друг друга будем обыскивать?

— Вас первого, Листницкий! — крикнул молодой, безусый сотник Раздорцев.

— Давайте жребий метнем.

— По алфавиту.

— Господа, шутки в сторону, — строго перебил Листницкий. — Старик наш, конечно, пересолил: офицеры в нашем полку — как жена Цезаря. Был юдин лишь — хорунжий Бунчук, да и тот дезертировал, а вот казаков надо пощупать. Позовите вахмистра.

Пришел вахмистр — не молодой уже казак, георгиевский кавалер трех степеней. Покашливая, он оглядел офицеров.

— Кто у тебя в сотне из подозрительных? Кто, думаешь, мог бы разбросать эти воззвания? — обратился к нему Листницкий.

— Нету таких, ваш бл'ародие, — уверенно ответил вахмистр.

— Однако ведь воззвания на участке нашей сотни? Кто из чужих был в траншеях?

— Никого чужих не было. Из иных сотён не было.

— Пойдемте стричь всех под ряд, — махнул рукой Меркулов, направляясь к выходу.

Обыск начался. Лица казаков выражали разнородные чувства: одни хмурились, недоумевая, другие испуганно поглядывали на офицеров, рывшихся в скудных казачьих пожитках, третьи посмеивались. Молодцеватый урядник, разведчик, спросил:

— Да вы скажите, што ищите? Ежли покража какая — может, кто у ково видал.

Обыск не дал никаких результатов. У одного лишь казака первого взвода нашли в кармане шинели скомканный листок воззвания.

— Читал? — спросил Меркулов, с комическим испугом бросая вынутый листок.

— На курево поднял, — не поднимая опущенных глаз, улыбнулся казак.

— Ты чему улыбаешься? — запальчиво крикнул Листницкий, багровея, подступая к казаку; под пенсне его нервно помигивали короткие золотистые веки.

Лицо казака сразу стало серьезным, улыбку — как ветер стряхнул.

— Помилуйте, ваш благородие! Да я почти што неграмотный! Читаю вовсе туло. А поднял затем, што бумаги на завертку нету, табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял.

Казак говорил обиженно-громким голосом, в нотках его звучало озлобление.

Плюнув, Листницкий отошел. За ним потянулись офицеры.

Через день полк сняли с позиций и отвели в тыл, верст за десять. Из пулеметной команды двух арестовали и предали военно-полевому суду, остальных — часть отправили в запасные полки, часть разбросали по полкам 2-й казачьей дивизии. За несколько дней отдыха полк привел себя в относительный порядок. Казаки вымылись, вычистились, побрились тщательно — не так, как в окопах, где зачастую освобождались от растительности на щеках простым, но болезненным способом; волосы зажигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая щетину, добирался до виска, — по щеке проводилось заранее смоченным полотенцем. Способ этот именовался «свинячим».

— Тебя по-свинячьи обрить, али как? — спрашивал какой-нибудь взводный парикмахер у клиента.

Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголеватей, веселей, но Листницкий, да и все офицеры знали, что веселость эта — как погожий день в ноябре: нынче есть, а завтра нету. Стоило зайкнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц и под опущенными веками глаз растекалось недовольство, утрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную неустойчивость, апатию. Листницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком состоянии рвется к какой-либо цели.

В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз ходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы: «Атаку возобновить». Остатки роты самовольно снялись со своего участка и пошли в тыл. Листницкий с сотней получил приказ задержать их, и когда он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты осталось не больше шестидесяти человек, и он видел, с какой безумно-отчаянной храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а лезли напролом, на гибель, на уничтожение, решив, что все равно где принимать смерть.

Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Листницкий с дрожливым волнением и по-новому всматривался в лица казаков, думал: «Неужели и эти когда-нибудь вот так же повернут и пойдут, и ничто, кроме смерти, не в силах будет их удержать?» И, сталкиваясь с усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут!»

Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни — и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Листницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в три-четыре голоса; над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска:

Ой, да разродимая моя сторонка,
Не увижу больше я тебя.
Не увижу, голос не услышу
На утренней зорьке в саду соловья.
А ты, разродимая моя мамаша,
Не печалься дюже обо мне.
Ведь не все же, моя дорогая,
Умирают на войне.

Листницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тутая струна

натягивалась в учащающем ударе сердце, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Листницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются, слезы остро и сладко режут веки.

Еду, еду по чистому полю,
Сердце чувствует во мне.
Ой да сердце чует, оно предвещает—
Не вернуться молодцу домой.

Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали:

Просвистала пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву черну кровью обливал...

За время стоянки на отдыхе единственный раз услышал Листницкий подмывающие, бодрящие слова старинной казачьей песни. Совершая обычную вечернюю прогулку, он шел мимо сарая. До него донеслись полухмельные голоса и хохот. Листницкий догадался, что каптенармус, ездивший в местечко Незвиску за продуктами, привез оттуда самокурки и угостил казаков. Подвылившие житной водки казаки о чем-то спорили, смеялись. Возвращаясь с прогулки, Листницкий еще издали услышал мощные фаскаты песни и дикий, пронзительный, но складный присвист:

На войне кто не бывал,
Тот и страху не видал.
День мы мокнем, ночь дрожим,
Всею ноченьку не спим.

«Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Ф-ю-ю-ю!» — сплошной вибрирующей струей тек, спирально вился высвист, и, покрывая его, гремело, самое малое, голосов тридцать:

В чистом поле страх и горе
Каждый день, каждый час.

Какой-то озорник, видно, из молодых, оглушительно и коротко высвистывая, бил по деревянному настилу пола в присядку. Четко раздавались удары каблучков, заглушаемые песней:

Море черное шумит,
В кораблях огонь горит.
Огонь тушим,
Турок душим,
Слава донским казакам!

Листницкий шел, непроизвольно улыбаясь, норовя шагать в такт голосам. «Быть может, в пехотных частях не так резко ощущается эта тяга домой, — думал он, но рассудок подсовывал холодные возражения:— А в пехоте разве иные люди? Несомненно, казаки болезненной реапируют на вынужденное сиденье в окопах — по роду службы привыкли к постоянному движению. А тут в течение двух лет приходится отсиживаться или топтаться на месте в бесплодных попытках наступления. Армия слаба, как никогда. Нужна сильная рука, крупный успех, движение вперед, — это встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально. Суворов — и тот испытал на себе... Но казаки будут держаться. Если и уйдут, то последними. Все же это — маленькая, обособленная нация, по традиции воинственная, а не то, что какой-либо фабричный или мужицкий сброд».

Словно желая разубедить его, в сарае чей-то надтреснутый ломкий голос затянул «Калинушку». Голоса подхватили, и Листницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь:

Офицер молодой богу молится.
Молодой казак домой просится:
— Ой, да офицер молодой,
Отпусти меня домой,
Отпусти меня домой
К отцу,
К отцу, к матери родной.
К отцу, к матери родной
Да к жененке молодой.

Через три дня, после того как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко, он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели — день лежал, зарывшись в стоделе в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели.

На противоположном краю местечка он долго ходил по пустому переулку, засматривая в ворота, изучающе разглядывая форму каждого бедного домишки. Минут через двадцать подошел к угловому некази-

стому домику, заглянул в щель ставни и, улыбнувшись, решительно вошел в калитку. На стук ему отворила пожилая, в платке, женщина.

— Борис Иванович у вас на квартире? — спросил Бунчук.

— Да. Проходите, пожалуйста.

Бунчук боком протиснулся мимо нее. Услышал сзади холодный лязг щекотлы. В низенькой комнате, освещенной крохотной лампенкой, за столом сидел немолодой, в военной форме, человек. Жмурясь, он взгляделся и встал, со сдержанной радостью протягивая Бунчуку руки.

— Откуда?..

— С фронта.

— Ну?..

— Видишь вот... — улынулся Бунчук и, тронув концом пальца солдатский ремень человека в военном, невнятно сказал: — Комната есть?

— Да, да. Проходи сюда вот.

Он ввел Бунчука в еще более маленькую комнату, не зажигая огня, усадил его на стул и, притворив дверь в соседнюю комнату, завесив окно занавеской, сказал:

— Ты совсем?

— Совсем.

— Как там?

— Все готово.

— Надежные ребята?

— О, да.

— Я думаю, ты сейчас разденешься, а потом мы поговорим. Давай твою шинель. Я сейчас принесу умыться.

Пока Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, поглаживая остриженные под ежик волосы, говорил устало и тихо:

— Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело — расти, расширять свое влияние, работать не покладая рук над раз'яснением истинных причин войны. И мы растем, — можешь быть уверен в этом. И то, что отходит от них, неизбежно приходит к нам. Взрослый человек по сравнению с мальчиком безусловно сильнее, но когда этот взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его. А в этом случае мы видим не только старческую дряхлость, но и прогрессирующее разложение всего организма.

Бунчук кончил умыванье и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал:

— Я перед уходом высказал офицерам свои взгляды... Знаешь, смешно так вышло... После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти, может быть, кто-либо из ребят под суд пойдет, но раз до-

казательств нет, какой разговор? Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на-руку: пусть оплодотворяют почву... Ах, какие ребята там есть! Кремневой породы.

— Я получил от Степана записку. Просит прислать парня, знающего в военном деле. Ты поедешь к нему, но вот как с документами? Удастся ли?

— Какая работа у него? — спросил Бунчук и поднялся на-цыпочки, вешая на гвоздь полотенце.

— Инструктировать ребят. А ты все не растешь? — улыбнулся хозяин.

— Не зачем, — отмахнулся Бунчук. — Особенно при теперешнем моем положении. Мне надо быть с гороховый стрючок ростом, чтобы не так заметно было.

Они проговорили до серой зорьки. А через день Бунчук, переодетый и подкрашенный до неузнаваемости, с документами на имя солдата 441-го Оршевского полка Николая Ухватова, получившего чистую отставку по случаю ранения в грудь, вышел из местечка, направляясь на станцию.

III

На Владимиро-Вольнском и Ковельском направлениях, в районе действий Особой армии (армия была по счету тринадцатой, но так как «13» — цифра несчастливая, а суеверием страдали и большие генералы, то армию наименовали «Особой») в последних числах сентября началась подготовка к наступлению. Неподалеку от деревни Свиноухи командованием был избран участок позиций, удобный со стратегической точки зрения для наступления, в виду того, что поблизости, вверху Стохода, имелся удобный плацдарм, — и артиллерийская подготовка началась.

К тому времени фронт до того был пресыщен смертоносной техникой, что требовались величайшие усилия и чудовищные затраты людских жизней для того, чтобы, сломив сопротивление противника, качнуть или выгнуть фронт. Небывалое количество артиллерии было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение девяти дней месили пространство, занятое двумя линиями немецких окопов. В первый же день, как только начался интенсивный обстрел, немцы покинули первую линию окопов, оставив одних лишь наблюдателей. Через несколько дней они оставили и вторую линию, перейдя на третью.

На десятый день части Туркестанского корпуса, стрелки, пошли в наступление. Наступали французским способом — волнами. Шестнад-

цать волн выплеснули русские окопы. Колыхаясь, редая, закипая у безобразных комьев скатавшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибою. А с немецкой стороны, оттуда, из-за обугленных пней сизого ольшаника, из-за песчаных, сгорбленных увалов, рвало, трясло, взметывалось и полыхало густым непрерывным гулом, трескучим пожарищем выстрелов.

«Гууууу... Гууууу... Гук! Гак! Бууууу-м!»

Изредка прорывался залп отдельной батареи и снова полз, подступал, полонил многоверстную округу:

«Гууууу... Гууууу... Гууууу...»

«Трррррааа-рррааа-та-та-та!» — безумно спешили немецкие пулеметы.

На пространстве с полверсты в поперечнике на супесной изуродованной земле вихрем рвались черные столбы разрывов, и волны наступающих дробились, вскипали, брызгами рассыпались от воронок и все ползли, ползли...

Все чаще месили землю черные пальцы разрывов, гуще поливал наступающих косой, резучий визг шрапнели, жестче хлестал принимающий к земле пулеметный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из шестнадцати волн докатились три последних, а от проволочных изуродованных заграждений, поднявших к небу опаленные укрепления на скрученной проволоке, словно разбившись о них, стекали обратно ручейками, каплями...

Десять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свиноухи.

Через два часа наступление возобновилось сызнова. Пошли части 2-й и 3-й дивизий Туркестанского стрелкового корпуса. Левее по щелям стягивались к первой линии окопов части 53-й пехотной дивизии и 307-я Сибирская стрелковая бригада, на правом фланге туркестанцев шли батальоны 3-й гренадерской дивизии.

Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов, получил из штабарма приказ перебросить в район Свиноухи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но несмотря на это один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону, и, только сделав переход в 12 верст над линией фронта, полк получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й пластунский.

318-й Черноярский полк до переброски стоял над Стоходом, в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольварка Рудка-Меринское. На утро, после первого же перехода, полк разместили в лесу, в брошенных землянках, и четыре дня обучали французскому способу наступления — волнами; вместо батальонов в цепи шли полуроты, бомбометчики учились с наивозможнейшей быстротой резать проволочные заграждения, вновь проходили курс метания ручных гранат. Потом опять тронули полк. В течение трех дней шли по лесам, по прогалинам, по одичалым проселкам, исполосованным следами орудийных колес. Хлопчатый редкий туман, движимый ветром, плыл, цепляясь за верхушки сосен, тек над прогалинами и, как коршун над падалью, кружился меж ольхами над сизой прозеленью парных болот. С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные. Через три дня остановились неподалеку от района наступления — в деревне Большие и Малые Порек. Отдыхали, готовясь к смертной путине, сутки.

В это время вместе со штабом 80-й дивизии передвигалась к месту близких боев и особая казачья сотня. В сотню влили казаков третьеочередников с хутора Тагарского. Второй взвод сплошь состоял из хуторцов: два брата безрукого Алексея Шамиля — Мартин и Прохор, бывший машинист моховской паровой мельницы Иван Алексеевич, щербатый Афонька Озеров, бывший хуторской атаман Маныцков, колченогий, чубатый сосед Шамилей — Евлантий Калинин, нескладно длинный казачина Борщев, короткошей и медвежковатый Захар Королев, веселая сердцевина всей сотни, Гаврил Лиховидов — казак редко-зверского вида, известный тем, что постоянно и безропотно сносил побои семидесятилетней старухи-матери и жены — бабы неказистой, но вольного нрава; и многие другие были во втором взводе и остальных взводах сотни. Часть казаков была ординарцами при штабе дивизии, но 2 октября их сменили уланы, и сотня, по распоряжению начдива, генерала Китченко, была послана на позиции.

Ранним утром 3 октября сотня вошла в деревню Малые Порек. Оттуда в этот момент выступал первый батальон 318-го Черноярского полка. Солдаты, выбегая из покинутых, полуразрушенных халуп, строились тут же на улице. Около головного взвода топтался смутный молоденький прапорщик. Он чистил, вынимая из планшетки¹⁾, шоколад (мокрые ярко-розовые губы его по краям были измазаны в шоколаде), ходил над колонной, и захлюстанная длинная шинель, с присохшей к подолу грязью, болталась меж ног, как овечий курдюк²⁾. Казаки шли левой стороной улицы. В одном из рядов второго взвода, крайним спра-

1) Планшетка — полевая офицерская сумка.

2) Курюк — хвост.

ва шагал машинист Иван Алексеевич. Он тщательно смотрел под ноги, норовя переступить колдобины лужиц. Его окликнули со стороны солдат, и он повернул голову, заскользил глазами по пехотным рядам.

— Иван Алексеевич! Друг милый!..

Оторвавшись от взвода, к нему утиной рысью бежал маленький солдатишка. На бегу он откидывал назад винтовку, но ремень сползал, и приклад немю вызванивал по манерке.

— Не угадаешь? Забыл?

В подбежавшем солдатишке, заросшем до скул ежистой дымчато-серой щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета.

— Откуда ты, шкалик?..

— А вот... Служу.

— Да ты в каком полку?

— В 318-м Черноморском. Не чаял... не чаял, что со своими встречусь.

Иван Алексеевич, не выпуская из костлявой ладони маленькой грязной руки Валета, радостно и взволнованно улыбался. Валет, поспешая за его крупным шагом, перебивал на рысь, снизу вверх засматривал Ивану Алексеевичу в глаза, и взгляд его узко посаженных злых глазок был небывало мягок, влажен.

— В наступление идем... Видишь...

— Мы сами туда.

— Ну, как ты, Иван Алексеевич?

— Эх, об чем речь-то!

— Вот и я так. С четырнадцатого не вылазию из окопов. Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого-то пришлось надуться... Кобыла за делом, а жеребенок так.

— Штокмана-то помнишь? Ягодка — наш Осип Давыдыч! Он бы теперь нам все разложил. Человек-то... а? Каков был... а?

— Он бы расшифровал! — в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в улыбке крохотную ежину мордочку. — Помню об нем! Я об нем боле отца понимаю. Отец-то мне дешево стоил... А не слышать об нем? Нету слуха?

— В Сибирьках он, — вздохнул Иван Алексеевич. — Отсидживает.

— Как? — переспросил Валет, синичкой подпрыгивая рядом с большим своим спутником, наставляя острый хряц уха.

— Сидит в тюрьме. А может, и помер теперь.

Валет некоторое время шел молча, поглядывая то назад, где строилась рота, то на крутой подбородок Ивана Алексеевича, на глубокую круглую ямку, приходившуюся как-раз над серединой нижней губы.

— Прощай! — сказал он, высвобождая руку из холодных мослаков Ивана Алексеевича. — Должно, не свидимся.

Тот левой рукой снял фуражку и нагнулся, обнимая сухонькие плечи Валета. Они поцеловались крепко, прощаясь словно навсегда, и Валет отстал. Он вдруг суетливо втянул голову в плечи, так что над серым воротником солдатской шинели торчали лишь смугло-розовые острые хрящи ушей, пошел, горбатясь и спотыкаясь на ровном.

Иван Алексеевич выступил из рядов, окликнул с дрожью в голосе:

— Эй, браток, кровинушка родимая! Ты ить злой был... помнишь? Крепкий был... а?

Валет повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулачком по смуглой, ребровой груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного ворота рубахи.

— Был! Был твердым, а теперь помяли!.. Укатили сивку!..

Он еще что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду.

— Ить эго Валет? — спросил его шагавший сзади Прохор Шамиль.

— Человек это, — глухо ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестуя на плече женушку-винтовку.

На выходе из деревни по пути сотни стали попадаться раненые, вначале единицами, потом группами в несколько человек, а дальше — густыми толпами. Несколько повозок, набитых до отказа тяжело ранеными, еле передвигались. Клячи, тащившие их, были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнута, обнажали розовые в красных крапинках кости с прилипшими кое-где волосками шерсти. Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды их едва не касались грязи. Иногда какая-нибудь останавливалась, немощно раздувая ввалившиеся острореберные бока, понуря большую от худобы голову. Удар кнута силком толкал ее с места, и она, качнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, срывалась и шла. Цепляясь со всех сторон за прядушки повозок, тянулись около раненые.

— Какой части? — спросил сотенный командир, выбрав лицо добродушной.

— Туркестанского корпуса, третьей дивизии.

— Сегодня ранен?

Солдат отвернулся, не отвечая. Сотня, свернув с дороги, шла к лесу, видневшемуся в полверсте расстояния. Сзади тяжким пехотным шагом чавкали выбравшиеся из деревни роты 318-го Черноморского. Вдали, на вылинявшем от дождей хмаром небе, желто-серым недвижным пятном висел немецкий привязной аэростат.

— Гляньте, станишники: какая чуда висит!

— Колбасятина.

— Он оттель зирит, проклятуций, как войска передвигаются.

— А ты думал зря выперся на такую высоту.

— Ох, далеко он!

— Да то близко. Снарядом — и то, небось, не докинешь.

В лесу казаков нагнала первая рота черноморцев. До вечера жались под мокрыми соснами, за воротники текло, по спинам гуляла дрожь; огонь запретили разводить, да и трудно было развести его на дожде. Уже перед сумерками ввели в щель. Неглубокий, чуть выше человеческого роста, ров был залит на полчетверти водой. Пахло илом, прелой хвоей и пресным бархатисто-мягким запахом дождя. Казаки, подобрав полы шинелей, сидели на корточках, курили, расплетали серую рвущуюся нить разговоров. Второй взвод, разделив выданный перед уходом паек махорки, жался на повороте, окружив взводного урядника. Тот сидел на брошенной кем-то катушке проволоки, рассказывая об убитом в прошлый понедельник генерале Копыловском, в бригаде которого он служил еще в мирное время. Он не закончил рассказа, так как взводный офицер крикнул: «В ружье!» — и казаки повскакивали, обжигая пальцы жадно докуривали цыгарки. Из щелей сотня вновь вылезла в сосновый темнеющий лес. Шли, подбадривая друг друга шутками. Кто-то насвистывал. На небольшой прогалине наткнулись на длинную стежку трупов. Они лежали в накат, плечом к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал солдат с винтовкой и противогазовой маской, привешенной сбоку пояса. Около групп была густо взмешана влажная земля, виднелись следы многих ног, глубокие шрамы на траве, оставленные колесами повозки. Казаки шли в нескольких шагах мимо трупов. От них уже тек тяжкий сладковатый запах мертвечины. Командир сотни остановил казаков и со взводными офицерами подошел к солдату. Они о чем-то говорили. В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая фигуры убитых с тем чувством скрытного трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их сорок семь человек. Из них большинство была молодежь, судя по виду — в возрасте от 20 до 25 лет, лишь крайний справа, с погонами штабс-капитана, был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы, на выбеленном смертью лице хмурились в смелом размете широкие брови. Некоторые из убитых были в изватанных пряжью кожаных тужурках, остальные — в шинелях. На двух или трех не было фуражек. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после смерти фигуру одного поручика. Он лежал на спине, левая рука его была плотно прижата к груди, в правой, кинутой в сторону, навсегда застыла рукоять нагана. Наган, видимо, пытались вынуть, — желтая широкая кисть руки белела царапинами,

но, знагь, плотно вкипела сталь, — не расстаться. Белокурая курчавая голова его, со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы скорбно, недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом, на спине горбом бутрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные, напружиненные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки, не было и верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда; в порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлела розовая вода, — дождь налил. За ним в распахнутой тужурке и изорванной гимнастерке лежал плотный, невысокий, без лица; на обнаженной пруди косо лежала нижняя челюсть, а ниже волос головы белела узкая полоска лба с опаленной, скатавшейся в трубочки кожей, в середине между челюстью и верхушкой лба — обрывки костей, черно-красная жидкая кашица. Дальше — небрежно собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истрощенная мятая нога на месте головы; а еще дальше — совсем мальчишка, с пухлыми губами и отроческим овалом лица; по пруди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья.

— Этот... этот в смертный час ково кликал? Матерю? — заикаясь, кладая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел, как слепой.

Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминаний виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок; тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шопотом сказал:

— Этот парнишка.... последний... гляди, небось, за всю жисть бабу не целовал... И зарезали это как?

— Это где же их так новорочали? — вмешался Захар Королев.

— В наступление шли. Солдат, какой охранял мертвяков, гутарил, — помолчав, ответил Борщев.

Казаки стояли «вольню». Над лесом замыкалась темь. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд.

В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарца, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал:

«На рассвете 3 октября немцы, употребив удушливые газы, отравили три батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь

с первым батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии, с тем, чтобы этой же ночью выбить противника из переой линии. На правом фланге у вас будут две роты второго батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии».

Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась.

Пока казаки отдыхали возле землянок, первый батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через Стоход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился: две роты пошли вправо, одна — влево, последняя, с командиром батальона, осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли, осторожно щупая почву ногами, иногда какой-нибудь падал, вполголоса тихо матерился. В крайней с правого фланга роте, шестым от конца шел Валет. После команды «изготовься!» он поставил спуск винтовки на боевой, шел, вытягивая ее вперед, натываясь и царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него над цепью прошли двое офицеров; они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный, спелый баритон командира роты жалился:

— У меня открылась давнишняя рана. Чорт бы брал этот пенек! Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате — рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться. — Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише. — Вы возьмите на себя командование первой полуротой, Богданов возьмет вторую, а я... того... честное слово, не могу. Я вынужден вернуться.

В ответ хрипло залаял тенорок прапорщика Беликова:

— Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны.

— Я попрошу вас молчать, господин прапорщик! — поднял на ноту ротный голос.

— Оставьте, пожалуйста! Можете возвращаться!

Прислушиваясь к своим и чужим шагам, Валет услышал сзади торпливый треск, понял: ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал:

— ...Прохвосты, чуют! Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту... Мерзавцы, е... м...! Я бы таких... солдаты...

Голоса внезапно смолкли, и Валет слышал лишь влажный хлопок собственных шагов да трельчатый звон в ушах.

— Эй, землячок! — кто-то слева засипел шопотом.

— Ну?

— Идешь?

— И-иду, — ответил Валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку.

— Темно-то, мать... мать... — слышалось слева.

Минуту шли, невидимые друг-другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сияющий голос проговорил:

— Пойдем рядом! Не так страшно...

Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за тучи, несколько секунд, блестя желтый чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах и, выбравшись на чистое, полил вниз сумеречный свет; фосфорически блеснули мокрые иглы сосен, казалось, сильнее при свете запахла хвоя, жестче дохнула холодом мокрая, земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы.

— Гляди! — выдохнул он.

В трех шагах от них у сосны, широко расставив ноги, стоял человек.

— Че-ло-век, — сказал или только подумал сказать Валет.

— Кто таков? — вдруг вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с Валетом солдат.

— Ктой-та? Стреляю!..

Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись на бок.

— Он спит! — закрипел смехом Валет и, сотрясаясь, бодря себя насильным смехом, шагнул вперед.

Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижную серую фигуру.

— Эй, ты, пензинска-а-ай! Спишь? Земляк!.. — насмешливо говорил он. — Чудила-а-а, ты что же?.. — голос его осекся. — Мертвец! — крикнул он, отступая.

Валет, класнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх, и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот отравленный газами, бежавший от смерти, которую нес в своих легких, солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал, вольно откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом, разжиженными глазами; из стиснутых зубов его черным глянцеvitым бруском торчал пухлый, мясистый язык.

— Пойдем. Пойдем, ради бога! Пусть он себе лежит, — шептал товарищ Валета, дергая его за руку.

Они пошли и сейчас же наткнулись на второй труп отравленного. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах они лежали копешками, иные застыли сидя на корточках, некоторые стояли на четвереньках — будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку.

Валет и солдат, приставший к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь, опередив ее, шли рядом. Они вместе прыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту, разошлись в разные стороны.

— Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась, — нерешительно предложил Валету товарищ.

— Пойдем.

— Ты — вправо, я — влево. Пока наши подойдут, мы проверим

Валет, чиркая спичку, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной: в землянке крест-на-крест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика.

— Wer ist das¹⁾?

Осыпанный огненным жаром, он молча отскочил назад.

— Das bist du Otto? Weshalb bist du spät gekommen²⁾ — спросил немец, шагнув из землянки и ленивым движением плеча поправляя накиннутую внапашку шинель.

— Руки! Руки подыми! Сдавайся! — хрипло крикнул Валет и присел, как по команде «к бою!»

Изумленный до немоты, немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, замороженными глазами глядя на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеч, подмышками морщился рябью однобортный серо-зеленый сюртук, поднятые вверх большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши страха. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую, плотную фигуру немца, металлические пуговицы сюртука, короткие шивные по бокам сапоги, бескозырьку, надетую чуть на-бок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели, издал странный горловой звук, — не то кашель, не то всхлип; шагнул к немцу:

— Беги! — сказал он пустым ломким голосом. — Беги, немец! У меня к тебе злобы нету. Стрелять не буду.

Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца, Уверенные движения его по-

1) Кто это?

2) Это ты, Отто? Отчего ты так поздно пришел?

коряжи пленного; он опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации вражеского голоса.

Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную двадцатилетним трудом руку, пожал холодные, безвольные пальцы немца и поднял ладонь: на нее, маленькую и желтую, испятнанную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца.

— Я — рабочий, — говорил Валет, дрожа от своей улыбки, как от озноба. — За что я тебя буду убивать? Беги! — и он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывал на черную вязь леса. — Беги, дурной, а то наши скоро...

Немец все смотрел на откинутую руку Валета, смотрел, остро напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось пару секунд, глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, он широким жестом выкинул вперед руки, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагинаясь и засматривая Валету в глаза.

— Du entlässt mich?.. O, jetzt hab ich verstanden! Du bist ein russischer Arbeiter? Sozial-Demokrat, wie ich? Zo? O! O! Das ist wie im Traum... Mein Bruder, wie kann ich vergessen? Ich finde keine Worte... Nur du bist ein wunderbarer wagender Junge... Ich... ¹⁾

Во вскипающем потоке чуждых по языку слов, Валет уловил одно знакомое, вопрошающее «социаль-демократ?» — и желтая ладонь его взметнулась, упала на грудь.

— Ну, да, я — социал-демократ. Разжевал, чудак? А ты беги... Прощай, браток. Лапу-то дай! Мы ведь родня по труду, по крови родня, а с родными так-то не прощаются.

Потрясенные, чутьем понявшие друг друга, они спаяли в рукопожатьи руки, смотрели в глаза, — недавние враги, теперь союзники — высокий, статный баварец и маленький русский солдат. По лесу зачмокали шаги подходившей цепи, баварец шепнул:

— In den zukünftigen Klassenkämpfen werden wir sein in denselben Ausgängen, nichtwar, Genosse? ²⁾ — и большим серым зверем вспрыгнул на бруствер.

¹⁾ Ты меня отпускаешь?.. О, теперь я понял. Ты — русский рабочий? Социал-демократ, как и я? Да? О! О! Это — как во сне... Мой брат, как я могу забыть?.. Я не нахожу слов... Но ты чудесный и храбрый парень... Я...

²⁾ В грядущих классовых битвах мы будем в одних окопах. Не правда ли, товарищ?

Цепь подошла. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылазившего из землянки солдата, который вместе с Валетом шарил там в поисках съестного.

— Свой, е... м...! Не видишь... в рот те, в душу!... — испуганно вскрикнул тот, увидя направленный на него черный глазок винтовочного дула.

— Свой тута, — повторил он, прижимая к груди, как ребенка, черную буханку хлеба и сумочку крупы.

Унтер, опознав Валета, перепрыгнул через окоп и с усердием толкнул его в спину прикладом.

— Изуродую! Кровь из носу! Ты где был?

Валет шел, размякший, обессилевший, даже удар не произвел на него должного воздействия. Качнувшись, он поразил унтера несвойственным ему добродушным ответом:

— Вперед шел. А ты не дерись.

— А ты не болтайся собачьим хвостом! То он отстанет, то вперед уходит, службу не знаешь? Первый год, что ли? — Помолчав, спросил. — Табачек есть?

— Помятый только.

— Тряхни.

Унтер закурил и отошел к концу взвода.

Уже перед рассветом чехи-разведчики в упор напоролись на немецкий наблюдательный пост. Немцы раскололи тишину залпом. С ровными промежутками дали еще два залпа. Над окопами взвилась красная ракета, зазвучали голоса, не успели затухнуть в воздухе багряные искры ракеты, как со стороны немцев начался артиллерийский обстрел.

«Бум! бум!» — и, догоняя первые гулкие удары, еще два: «Бум! бум!»

«Клё-клё-клё-клё-вззи-и-и-и — заклохотали с нарастающей силой снаряды, как буравом, высверливая воздух, со скрежетом проносясь над головами солдат первой полуторы; мгновение тишины — и далеко, возле переправы через Стоход, облегчающий гул разрывов — «Бах!.. бах!..»

Цепь, шедшая в сорока сажнях сзади чехов-разведчиков, после первого же залпа залегла. Ракета вскинула алое зарево; при свете его Валет видел, как солдаты муравьями ползли меж кустов и деревьев, уже не брезгая грязной землей, а прижимаясь к ней, ища защиты. Люди копошились у каждой рытвинки, никли под каждой крохотной складкой земной коры, совали головы в каждую ямку. И все же, когда майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь, — не выдержали: ползли назад, до предела втягивая головы в плечи, гусеницами влипали в землю, передвигались, не сгибая ни фруж, ни ног, ползли по-змеиному, влача за собою по грязи след... Некоторые

вскакивали и бежали. По лесу, осекая хвою, щепя сосны, с гадючьим шипом зарываясь в землю, скакали и, чмокая, рвались разрывные пули.

Семнадцать человек не досчитались в первой полуроте, когда вернулись ко второй линии окопов. Неподалеку перестраивались казаки особой сотни. Они шли правее первой полуроты, шли осторожно и, возможно, застали бы немцев врасплох, предварительно сняв часовых, но когда по чехам-разведчикам дали залп, — немцы встревожились на всем участке. Бесцельно стреляя, убили двух казаков, одного ранили. Казаки принесли с собой раненого и убитых, выстраиваясь переговаривались:

— Похоронить надо своих.

— Без нас похоронят.

— Тут об живых надо думать, а мертвякам мало надо.

Из штаба полка через полчаса был получен приказ: «После артиллерийской подготовки приказываю батальону, совместно с особой казачьей сотней, атаковать противника и выбить его из первой линии окопов».

Жиденькая подготовка длилась до 12 дня. Казаки и солдаты, выставив посты, отдыхали в землянках. В полдень пошли в атаку. Левее, на главном участке, промывала канонада, — там наступали вновь.

На самом конце правого фланга были забайкальские казаки, левее — Черноярский полк с особой казачьей сотней, за ними — Фанаторийский гренадерский полк, дальше — Чембарский, Бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, Павлоградский, Венгровский, полки 53-й дивизии развивали наступление в центре, весь левый фланг охватывала 2-я Туркестанская стрелковая дивизия. Гремело на всем участке, — русские наступали повсюду.

Сотня шла негустой цепью. Левое крыло ее смыкалось с правым черноярцев. Едва лишь показался хребет бруствера, немцы открыли ураганный огонь. Сотня перебежала без крика; залегали, опорожняли магазинные коробки винтовок и вновь бежали. Окончательно легли в пятидесяти шагах от окопов. Стреляли не подымая головы. Немцы выбросили по всей линии окопов рогатки с сетчатой проволокой. Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у заднего прохода. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, видел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля — брата безрукого Алешки; третьим лег бывший атаман Маньцков, и сейчас же подцепила пуля колченого, чубатого соседа Шамилей — Евлантия Калинина.

Из второго взвода за полчаса выбыло восемь человек. Убили есаула — командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очутившись вне действия огня, казаки стеклись куч-

кой, — не досчитались половины людей. Отошли и черноморцы. В первом батальоне урон был еще значительней, но не глядя на это, из штаба полка приказ: «Атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успеха восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии».

Сотня рассыпалась реденькой цепью. Пошли опять. Под сокрушительным огнем немцев залегли в ста шагах от окопов. Опять стали таять кадры частей, и обезумевшие люди вращались в землю, лежали, не поднимая головы, не двигаясь, опоённые ужасом смерти.

Перед вечером вторая полурота черноморцев дрогнула и побежала. Крик «обошли!» донесло до казаков. Поднялись, катились назад, ломая кустарник, падая, теряя оружие. Выбежав на безопасное место, Иван Алексеевич упал под сломленной снарядом сосной, отдышался и тут увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел он, пьяно кидая ногами, уронив глаза, как бешеное животное, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица невидимую паутину. При нем не было ни винтовки, ни шапки, над глазами низко свисали прямые, мокрые от пота темнорусые волосы. Околесив прогалину, он подошел к Ивану Алексеевичу. Стал, вонзив косой, неувовимо-плывущий взгляд в землю. Ноги его в коленях мелко дрожали, подгибались, и Ивану Алексеевичу казалось, что Лиховидов приседает будто для того, чтобы взлететь

— Вот... видишь как... — начал он, пытаясь что-то сказать, но лицо Лиховидова пронизала судорога.

— Стой! — вскричал он и присел на корточки, топыря пальцы, испуганно оглядываясь. — Слухай! Я зараз песню заиграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит:

— Скажи, моя совушка, скажи Куприяновна:
 Кто ж тебя больше, кто ж тебя старше?
 Вот орел — государь,
 Вот и коршун — майор,
 Вот и лунь — есаул,
 И витютени — уральцы,
 А голуби — атаманцы.
 Клиндухи — линейцы,
 Скворцы — калмыки,
 Галки — цыганки
 Сороки — дворянки,
 Сера уточка — пехота,
 А козарки — молдаванки...

— Погоди! — побледнел Иван Алексеевич. — Лиховидов, да штой то ты?... Ты захворал? А?

— Не мешай! — «побагровел тот и, вновь вытягивая голубые губы в бессмысленную улыбку, тем же жутким речитативом продолжал:

— А козарки — молдаванки,
Дудаки — дураки,
Кваки — забияки,
Вот грачи — артилерия,
Вороны — волохи,
Рыбники — скрипники...

Иван Алексеевич вскочил:

— Пойдем, пойдем к своим, а то немцы заберут нас! Слышишь?
Вырывая руку, торопясь, роняя с губ теплую слюну, Лиховидов продолжал выкрикивать:

— Соловушки — музыканты,
Касатушки — великаны,
Чернопуз — голопуз,
Синичка — сборщик,
Воробей — десятник.

И, неожиданно оборвав голос, запел тягуче, хрипло. Не песня, а волчий нарастающий вой валом выползал из его оскаленного рта. На острых клыковатых зубах переливалась перламутром слюна. Иван Алексеевич с ужасом смотрел в безумно-раскосые глаза недавнего товарища, на голову его, с плотно прилепшими волосами и восковым слепком ушей. Уже с каким то ожесточением Лиховидов выл:

— Вот гремит слава трубой.
Мы за Дунаем-рекой.
Турк-салтана победили,
Християн освободили.
Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли.
Все донские казачки.
Как курей, ваших индюшек
Перведем всех до пера,
А детей ваших, марушек
Заберем всех во плена.

— Мартин! Мартин, поди ко мне! — закричал Иван Алексеевич, увидя ковылявшего по прогалине Мартина Шамиля.

Тот, опираясь на винтовку, подошел.

— Помоги мне ево отвезти. Видишь? — указал Иван Алексеевич глазами на сумасшедшего. — Дошел до краю. Кровь в голову кинулась.

Шамиль перевязал раненую ногу рукавом, оторванным от исподней рубахи, не глядя на Лиховидова, взял его под руку с одной стороны, Иван Алексеевич — с другой, пошли.

Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи...

уже тише вскрикивал Лиховидов. Шамиль, болезненно морщась, упрашивал его:

— Брось ты шуметь! Брось, ради Христа. Ты теперь отлетался во взят. Брось!

Как курей, ваших индюшек
Перведем всех до пера...

Сумасшедший вырывался из рук казаков, петь не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия.

IV

Верст на сорок ниже по Стоходу шли бои. Две недели неумолчно стонал сплошной орудейный гул, по ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно-тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны.

На участке, болотистом и диком, разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам, ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты; одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои, — верст на сорок ниже по Стоходу.

В одну из хрустких морозных ночей, когда далекие отоветы особенно ярко мерещили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший сзади окопов седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым человек восемь казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; неизяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит сбоку Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная звезда.

Григорий, щурясь, глядел на нее и от ледяного света звезды, не яркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы.

Для него наступил такой момент, когда в сознании нарастает необходимость оглянуться через плечо на пройденную путину и проследить неровные ее извивы. Лежа здесь на холме, он почему-то вспомнил ту

ночь, когда с хутора Нижне-Яблоновского шел в Ягодное к Аксинье; с режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упрямо подсовывала другое лицо, чуть склоненное на бок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, изпод низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно-ласковое, горячее шепчут порочно-жадные красные губы и медленно отводит взгляд, отворачивается, на смуглой шее два крупных пушистых завитка... их так любил целовать он когда-то...

Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурно-пьяный, тончайший аромат аксиньичих волос; он, весь изогнувшись, раздувает ноздри, но... нет! это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал аксиньиного лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую кожу земли и долго, не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете Полярная звезда.

Отдельные куски несвязных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском, в семье, после разрыва с Аксиньей; по ночам жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность; днями внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с которым встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды, — его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытраивал из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, национальное, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой.

— Я знал, Гришка, — подвыпив, на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебро с чернью волос: — знал давно, што из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему обычаю вынес я тебя на баз, — помнишь, старуха? — и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап ево за гриву

ручонками!.. Тогда ишо смекнул я, што должен из тебя толк выйтить -- и вышел.

Добрый казаком ушел на фронт Григорий, не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу...

1915 год. Май. Под деревней Ольховчик по ярко-зеленой ряднине луга наступает в пешем строю 13-й немецкий Железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет залегшей над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей согни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводи, опущенной желтобарашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди — немецкая цепь, желтый глянec медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый пыльный дымок выстрелов.

Григорий, не спеша, стреляет, целится тщательно и между двумя выстрелами, прислушиваясь к взводному, выкрикивающему прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака... Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами верх, заставляет их рысью бежать к речке.

Под Равой-Русской, со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обратив наступавших австрийцев в бегство.

Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана, вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах людского кала, исходившего от офицера, и дрожь его полного, мокрого от страха тела.

И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом — Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудый дым, и дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпиним полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и когда двенадцать сотен, одна за другой, устремились в атаку, с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с уби-

того под ним вороного коня и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с трудом удержал коня, и когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо него, он подскакал к нему, крикнул:

— Хватайся за стремя!

Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория.

— Не скачи шибко! Не скачи, ради Иисуса Христа! — просил он, задыхаясь, зевая раскрытым ртом.

Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не больше ста сажен, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Он отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая алевшие лампасами шаровары. Из-под бупра перебежали звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить, — для того рвет с себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата, а казаков не брали тогда немцы в плен... Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув.

— Садись!..

Не забыть Григорию короткий взмах степановых глаз. Он помог ему сесть в седло, сам бежал, держа за стремя, рядом с облитым потом конем.

«Цьююуу... — цедила горячий свист пуля и, вылетая из слуха, рвала его: — юууть!».

Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам — этот низущий, сверлящий высвист «цьююуу-уть», цьюуу-уть», а сзади хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акации:

«Пук-пак! Пук-пак! Та-тах-ах-ах!»

В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли, кинул поводья, похромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, из-под отставшей подошвы била цевкой вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.

— Полон сапог натекло крови, — сказал Степан.

Григорий молчал, глядел в сторону.

-- Пришка... как шли мы ныне в наступление... Слышишь, Григорий? — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория. — Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял... Не привел бог убить.

Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блеснул остро отточенный взгляд Степана. Он говорил, почти не разжимая стиснутых зубов:

— Ты меня от смерти отвел... Спасибо... А за Аксинью не могу простить. Душа не налегает... Ты меня не неволь, Григорий...

— Я не неволю, — ответил тогда Григорий.

Они разошлись попрежнему непримиренные...

И еще: в мае полк, вместе с остальными частями брусиловской армии, прорвал у Луцка фронт, каруселил в тылу, бил и сам принимал удары. Под Львовом Григорий самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубичную батарею вместе с прислутой. Через месяц, ночью как-то, плыл через Буг за «языком». Сбил с ног стоявшего на посту часового, и он, здоровый, коренастый немец, долго кружил повисшего на нем полуголого Григория, порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали.

Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай.

Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев? Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл австрийцам, снимал без крови заставы, джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не питает воду, так и сердце Григория не питало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн; но знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчали скулы; знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства.

Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки. Память услужливо воскрешала пережитое, и в скулые отрывочные воспоминания войны тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту он с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине. Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через Стоход, легко семеня над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламенной горели звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил две цыгарки под ряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки, опираясь на пальцы левой руки, приподнялся с гостеприимной земли, побрел к окопам.

В землянке все еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в воспоминаниях по искоженным, заросшим давностью тропам, но сон опьянил его; он уснул в той неловкой позе, которую принял лежа, и во сне видел бескрайнюю, выжженную суховеем степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чебурцом следы некованных конских копыт... Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по твердой супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх... Проснувшись и приподняв голову, с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный аромат какой-либо травы. После спал непросыпно, без снов.

На другой день Григорий встал с какой-то необъяснимой сосущей тоской.

— Ты чево постный ныне? Станицу во сне видал? — спросил его Чубатый.

— Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе... Дома бывал бы. Осточертела царева службица.

Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с Григорием, относился к нему с тем уважением, которое сильный зверь внушает сильному; со времени первой ссоры, в 1914 году, между ними не было стычек, и влияние Чубатого явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатого сильно изменила война. Он туто, но неуклонно катился к отрицанию войны, подолгу говорил об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей, в подходящий раз она нас за один чох можег продать»... Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения, но Чубатый отнесся к этому отрицательно.

— Песня-то хорошая, да голос хриповат, — говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая себя по сизой лысине. — Об этом Мишка Кошевой, как кочет с плетня, трубит. Толку-то нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, што нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича, а с мужиками нам не по дороге, — гусь свинье не товарищ. Мужики землю нороят оттягать, рабочий жалованье себе желает прибавить, — а нам чево дадут? Земли у нас — ого! А окромя чево надо? То-то и ба, што пустая торба. Царек-то у нас хреновый, — нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, што възграет, как в пятом годе, революция и к едрене-матрене пойдет все колесом с горы. Нам это не на-руку. Коль, не дай бог, прогонют царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу

прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Ухи надо во-стро держать...

— Ты завсегда одним боком думаешь, — хмурился Григорий.

— Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необ'езженный.. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда.

На этом обычно разговоры кончались. Григорий умолкал, а Чубатый старался заговаривать о чем-либо постороннем.

В этот день случай втянул Григория в неприятную историю. В полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась под'ехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг-друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес низку дымящихся котелков и едва лишь вошел в землянку, крикнул:

— Так нельзя, братушки! Што ж это, аль мы собаки?

— Ты об чем? — спросил Чубатый.

— Дохлиной нас кормят! — возмущенно крикнул Кошевой.

Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил:

— Понюхай, чем щи воняют.

Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочал ноздрями, кривился и, невольно подражая ему, так же двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой.

— Вонючее мясо, — решил Чубатый.

Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория. Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый нос над щами, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю.

— На што так-то? — нерешительно проговорил Чубатый.

— А ты не видишь — на што? Глянь, аль ты подслепый? Это што? — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу.

— О-о-о-о!.. Черви!.. Мама стара... А я и не видал!.. Вот так обед, Это не щи, а лапша... Замест потрохов — с червями.

По полу, возле сукровично-красного куска мяса, в кружочках жировых пятен лежали, вяло распластавшись, выварившиеся, белые пухлоколенчатые черви.

— Один, другой, третий, четвертый... — почему-то шопотом считал Кошевой.

С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы. Кошевой обнажил шашку, сказал:

— Зараз арестуем эти щи и — к сотенному.

— Во! Дельно! — одобрил Чубатый.

Он засветился, отвинчивая штык, говорил:

— Мы будет гнать щи, а ты, Гришка, должен следом иттить. Сотенному отрапортуешь.

На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей, шашки держали наголо. Сзади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей выбежавшие из землянок казаки.

— Што такое?

— Тревога?

— Может, насчет мира што?

— Какой там... мира тебе захотелось, а сухаря не хошь?

— Щи червивые арестовали!

У офицерской землянки Чубатый с Кошевым остановились. Григорий, пригинаясь, придерживая левой рукой шапку, шагнул в «лисий нору».

— Не напирай! — зло оскалился Чубатый, оглядываясь на толкнувшего его казака.

Сотенный командир вышел, застегивая шинель, недоумевающе и чуть встревоженно оглядываясь на Григория, выходящего из землянки последним.

— В чем дело, братцы? — заскользил командир глазами по головам казаков.

Григорий зашел ему наперед, ответил в общей тишине:

— Арестованнова пригнали.

— Какого арестованного?

— А вот... — указал Григорий на котелок щей, стоявший у ног Чубатого. — Вот арестованный... Понюхайте, чем ваших казаков кормят.

У него неровным треугольником изломалась бровь и, мелко подрожав, выпрямилась. Сотенный пытливо следил за выражением григорьева лица, хмурясь, перевел взгляд на котелок.

— Падлом зачали кормить! — запальчиво выкрикнул Мишка Кошевой.

— Каптера сменить!

— Гадюка! Мать ево...

— Зажрался, дьявол!

— Он из бычиных почек щи лопаает...

— А тут с червями! — подхватывали ближние.

Сотенный выждал пока, сворачиваясь, улегся гул голосов, сказал резко:

— Тиш-ш-ше! Молчать теперь! Все сказано. Каптенармуса сегодня же сменяю. Назначу комиссию для того, чтобы обследовать его действия. Если недоброкачественное мясо...

— К суду его! — гроыхнуло сзади.

Голос сотенного захлеснул новый вал вскриков.

Каптенармуса сменять пришлось в дороге. Через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся казаки арестовали и пригнали к сотенному борщ, штаб 12-го полка получил приказ сняться с позиций и по приложенному к приказу маршруту походным порядком двигаться в Румынию. Ночью казаков сменили сибирские стрелки. В местечке Рыньичи полк разобрал лошадей и на утро форсированным маршем пошел в Румынию.

На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем: деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние восемь верст, чтобы обеспечить себя квартирами.

Шли семнадцать дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной прифронтовой полосе не было кормов; жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах; раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами, редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назябшие и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек; в деревнях, уцелевших от разгрома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства.

Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара с меру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смиренного, престарелого бессарабца, а ячмень унес-таки к коню. Взводный офицер застал его у коновязи. Чубатый навесил торбу коню, ходил, оглаживая дрожащими руками его запавшие маслаковатые бока, как человеку, засматривал ему в глаза.

— Урюпин! Отдай ячмень, сукин сын! Тебя же, мерзавца, расстреляют за это!..

Чубатый глянул на офицера дымящимся косым взглядом и, хлопнув под ноги шапку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком:

— Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам!.. Што, мой конь с голоду должен сдохнуть? А? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!

Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку...

Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострецы и, кивнув головой, сказал:

— Что ж ты горячему-то даешь зерно?

В голосе его явственно сквозила смущенность,

— Не, он остыл уж, — почти шопотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие из торбы зерна и вновь ссылая их туда же.

В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами вились ветры, в ущельях бугрился морозный туман, крепко пахли сосновые леса, запалённые заморозками, и на первом хрушке снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей: волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили в глубь страны.

7 ноября 12-й полк штурмовал высоты «320». Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом с Чубатым и виновато, небывало застенчиво улыбаясь, говорил ему:

— Я штой-то ноне робею... Будто в первый раз иду наступать.

— Да ну?.. — дивился Чубатый.

Он нес свою отёрханную винтовку, держа ее за ремень, обсасывая с усов ледяные сосульки.

Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов грозили молчанием. Там, за увалом, у немцев, лейтенант-саксонец, с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам:

— Kameraden! Wir haben die Blaumäntel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen einpfeffern, wasest heisst mit uns'n Hühnchen zu rupfen! Ausharren! Schiesst noch nicht! ¹⁾

Шли в штурм казацки сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жнивьем давно небритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой, из-под заиневших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие

¹⁾ Друзья! Мы били не раз синешинельников! Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами. Больше выдержки! Не стреляйте пока!

покинуло его. Нынче, как никогда, было ему страшно за себя, за людей. Хотелось кинуться на землю и плакать, и, как матери, жаловаться ей на детском языке. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство, осиливая слезы, он говорил Чубатому и щурил неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов:

— Молчат. Подпущают поближе. А я боюсь и не совестно мне... Што ежели зараз повернуться и — назад?

— Чево ты галдишь ноне?— раздраженно допытывался Чубатый.— Тут, милый, как в картежной игре: не веришь себе — голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка... Ты либо хворый, либо... кокнут нынче тебя. Гля-ка! Видал?

Над окопами на секунду встал во весь рост и вновь упал немец в короткой шинели и острошипой каске.

Левее Григория красивый светлоусый казак Еланской станицы на ходу то снимал с правой руки перчатку, то надевал опять. Он повторял это движение беспрерывно, торопливо шагая, трудно сгибая ноги в коленях и преувеличенно громко покашливая. «Будто один ночью идет, насильно кашляет, — веселит себя», — подумал про него Григорий. За ним виднелась веснушчатая щека урядника Максаева, дальше шагал Емельян Грошев, твердо высгавив винтовку с завернутым на сторону жалом штыка. Григорий вспомнил, что Емельян несколько дней назад на походе украл у румына мешок кукурузы, взломав вот этим штыком замок у чулана. Почти рядом с Максаевым шел Кошевой Мишка. Он жадно курил, часто сморкался, вытирая пальцы о наружную сторону левой полы шинели.

— Пить хочу, — говорил Максаев.

— Мне, Емельян, сапоги тесные. Нету через них ходу, — жалился Мишка Кошевой.

Грошев прерывал его озлобленно:

— Не об сапогах тут речь! Держись, зараз из пулемета немец полосканет.

После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. Он хотел было перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей крови, шибко плескавшейся от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча под камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега. Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и дрожью вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий прохот выстрелов. Приподняв голову, он увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая, бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем необъяснимый и неоправдываемый страх поставил его на ноги и так же заставил

бежать вниз, туда, к острозубчатой проше соснового леса, откуда полк развивал наступление. Григорий опередил Грошева Емельяна, увлекавшего за собой раненого взводного офицера. Грошев бегом сводил его по крутому склону; сотник пьяно путал ногами и, редко припадая к плечу Грошева, блевал черными сгустками крови. Сотни лавиной катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых; раненые, которых не успели захватить, сползали сами. Вслед горячо мочили их пулеметы.

«У-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..» — рвался хлопьями сплошной поток выстрелов.

Григорий, опираясь на руку Мишки Кошевого, входил в лес. Напологой площадке у леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось, будто по первому, ломкому льду скачет, вызванивая, камень, пущенный сильной рукой.

«У-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..»

— Насыпали нам! — словно радуясь, выкрикнул Чубатый.

Прислоняясь к рыжему животу сосны, он лениво постреливал по перебегавшим над окопами немцам.

— Дураков учить надо! Учить! — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал Кошевой.

— Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за што его по голове гвоздют!

— Ты к чему это? — сощурился Чубатый.

— Умный сам поймет, а дураку... дураку што? Ему силком не вдолбишь.

— Ты об присяге помнишь? Ты присягал, аль нет? — привязывался Чубатый.

Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег, глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФРИДЬЕШ КАРРИКАШ — Осенний паек дяди Габора Добай (рассказ)	3
АННА КАРАВАЕВА — Лесозавод (роман), продолжение	13
АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО — Магьяр (первые варианты)	61
Е. НЕЧАЕВ — Алешка-Матрос (рассказ)	80
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), продолжение	105
СТИХИ — Ковынева, А. Акоюна, Б. Уральского	150—155
ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ! — Газета «Новая Жизнь»	156
Н. ПОЛЕТАЕВ — «Звезда»	160
И. РЯБКОВ — Воспоминания о книжном складе «Правда»	170
ЖИЗНЬ НА ХОДУ	
Г. КАНЭЛЬ — Евдокушка	179
В. СТАВСКИЙ — Клуб моряков (письмо из Новороссийска)	207
МЭРИ РИД — Первое мая (перевод с английского)	211
ЛИТЕРАТУРА	
Г. ЯКУБОВСКИЙ — О чем и как пишет Сергей Семенов	217
Ж. ЭЛЬСБЕРГ — «Февраль» А. Тарасова-Родионова	231
ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ	
И. КОЗЛОВСКИЙ — О М. Горьком. А. ЖОГАЛЬ — Горький — наша гордость. КУЛЕШОВ — О Горьком	238—240
БИБЛИОГРАФИЯ	
А. л. Исбах, В. Красильников, А. Ревякин, Ю. Данилин	241—247